

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. ГОРЬКОГО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. ГОРЬКИЙ, Н. А. ГРУЗДЕВ,
Б. Л. ПАСТЕРНАК, В. М. САЯНОВ,
А. П. СЕЛИВАНОВСКИЙ, Н. С.
ТИХОНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ

33-3
640a

ДЕНИС ДАВЫДОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
В. Н. О Р Л О В А
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
В. М. САЯНОВА и
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

Проверено

✓
СФ-3425 ✓

Г.П.Б. в Лнгр

Ц. 1933 г.

Акт № 574

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

№ 303

Отпечатано для Издательства писателей
в Ленинграде в количестве 4.500 экз. — 19 н. л.
2-й типографией «Печатный Двор» треста
«Полиграфкнига». Гатчинская, 26. Зак. № 345
Ленгормит № 1157. Переплет и суперобложка
М. Курнарского. Сдано в набор 29/XI 1952 г.
Подписано к печати 21/VII 1953 г. Формат
бумаги 82×110. Порядковый № 42. Тип.
знаков 56 288. Ответственный редактор
Н. Тихонов. Технический редактор Д. Бабкин.
1953

ДЕНИС ДАВЫДОВ

I

Красавец гусар, огромного роста, в нарядном ментике, отороченном мехом, с пуговицами в несколько рядов, с шнурами и петлицами, — изображен на одной из картин Кипренского. Этот портрет — один из тех, что принесли Кипренскому звание академика, — был писан с человека, по свидетельству современников, не хорошего собою: «голос он имел пискливый; нос необыкновенно мал», с человека, которому, по собственному его признанию, малый рост препятствовал вступить в кавалергардский полк без затруднения, с поэта и партизана Дениса Васильевича Давыдова. Работа знаменитого русского живописца примечательна во многих отношениях, но она не дает представления о подлинной, исторической личности Дениса. Много лет спустя после смерти Давыдова Л. Н. Толстой в «Войне и мире» дал более обыденный и, по справедливому замечанию Б. Садовского, более верный портрет этого человека:

Он «был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка».

Этот «маленький человечек с красным лицом» был одной из примечательнейших фигур литературного движения первых десятилетий девятнадцатого века, одним из известнейших русских военных деятелей, одной из интереснейших личностей эпохи, и немудрено, что образ поэта-партизана идеализировался многими современниками. Не только литературная и военная деятельность Давыдова, не только своеобразие его личности, привлекали к себе внимание современников, — самая наружность Дениса была источником вдохновения для многих поэтов и живописцев его времени. Впоследствии, в 1860 году, журнал «Русское Слово», давший уничтожающий и презрительный отзыв о литературной деятельности Давыдова, обратил внимание на это.

Критик «Русского Слова» подчеркивает, что современники Давыдова: «немало внимания обращают на наружность поэта-стихотворца. Особенную поэзию и красу находят они в том, что у Давыдова усы. Г. Федор Глинка начинает свое стихотворение прямо с восклицания: «Усач». И ставит точку. Нужно

ли, дескать, к этому прибавлять что-нибудь? Не все ли тут сказано? Через несколько стихов г. Федор Глинка опять с любовью повторяет: «и, закрутив с досады ус». «Мой друг, усатый воин», обращается к Давыдову Жуковский. Князь П. Вяземский поет на голос трепака:

Про вино ли, про свой ус ли,
Или прочие грехи,
Речь заводись: словно гусли
Разыграются стихи.

Дальше Давыдов именуется «усатым запевалой». В другом стихотворении князя П. Вяземского ус Давыдова назван красноречивым¹.

В то время, когда критик «Русского Слова» писал эту рецензию, еще не была обнародована переписка Д. В. Давыдова с А. А. Закревским. В этой переписке, дающей богатый материал для понимания личности Давыдова, есть, между прочим, неоднократные упоминания о знаменитых усах партизана-поэта. Приведем несколько тирад Давыдова, показывающих, какое внимание он уделял своим усам².

В 1819 г. Давыдова хотели перевести в квартирмейстерскую часть, где он должен был сбрить усы. «Ты смеешься», — написал Давыдов Закревскому, узнав о своем назначении, — «но даю тебе честное слово, что минуты не останусь начальником штаба, если вздумают лишить сих остатков моего партизанства, особенно усов, которые я ношу с тех пор, как они пробиваться стали». «Ради бога, любезный друг, спаси меня от посрамления! Довольно и того, что я сбрил бороду. Неужели же положено меня посвятить в кастраты и лишить вывески силы и мужества».

Проходит семь лет, старый император умирает, начинаются новые войны, происходят события величайшей исторической важности, залитое кровью восстание декабристов ложится грозной тенью на престол Николая Палкина, Денис хлопочет о назначении в армию, — и снова вспоминает об усах:

«Я вижу», — пишет он Закревскому, — «что ты уже улыбаешься и догадываешься, что это желание сохранить усы. — Точно».

Мало того, стоит кому-нибудь из живописцев изобразить участников войны 1812 г. с этой «вывеской силы и мужества», как Денис Васильевича начинают мучить самые страшные предчувствия. Тому же Закревскому он сообщает, что «по усам Чаликова и по роже Каблукова не мудрено, что потомство отдаст славу партизанства им, а не мне».

Я обратил такое внимание на наружность Дениса не потому, что считаю его заботу об усах «чужаством» или просто бестол-

¹ «Русское Слово», 1860 г., № 6, стр. 76.

² Эти и дальнейшие цитаты из «Сборника Русского Исторического Общества» т. 73, 1890 г.

ковой выходкой самовлюбленного человека: ниже я дам объяснение этой давыдовской заботе об «усах». В приведенном материале интересно другое: повышенный интерес современников к личности и деятельности Давыдова распространяется даже на его наружность. Внешность этого человека, являющегося в глазах многих современников одним из носителей русской военной и литературной славы, должна быть оригинальной, соответствовать своеобразному облику его личности.

Наш боец чернокудрявый
С белым локоном на лбу,

писал когда-то Языков о Денисе Давыдове, и когда, впоследствии, до друзей Дениса Давыдова дошли слухи о том, что он собирается выкрасить свой белый локон, друзья дали понять партизану-поэту, что этого делать не следует.

Так и пришлось поэту стоять в веках «с белым локоном на лбу». Литература, подняв Давыдова на подмостки, уже не позволяла ему уйти со сцены, не сыграв роли последовательно и до конца, в том же гриме, в котором он появился впервые перед зрителями.

II

Все крупнейшие поэты пушкинской эпохи оставили стихотворные свидетельства своей любви к знаменитому партизану-поэту. Пушкин, Боратынский, Языков, Жуковский, Вяземский, Воейков, Нечаев, Федор Толстой («американец»), Шаликов, Стромиллов, Алексей Бестужев, Ростопчина, Шахова, — и величайшие поэты России, и третьестепенные по своему литературному значению современники Давыдова, и просто дилетанты, сочиняющие эпиграммы на досуге, в перерыве между кутежами, «встали во фрунт» перед поэтом-партизаном и «отдали ему честь стихами».

Но и помимо стихов, сохранилось не мало свидетельств восторженного отношения современников к Денису Давыдову.

Боратынский назвал Давыдова «певцом-наездником, именем которого справедливо гордятся поэты и воины».¹

Грибоедов писал Бегичеву 4 января 1825 г.: «Нет здесь [т. е. в Петербурге], нет этакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки».

Пушкин называл его «своим отцом и командиром», «певцом и героем».

Военная и литературная слава Давыдова вышла и далеко за пределы России. Вальтер Скотт в своем сочинении о Наполеоне уделил внимание личности Дениса, легендарного «Black Captain», черного капитана, войны 12 года. Из своего

¹ Е. Боратынский. Полное собрание сочинений, т. II, 1915 г., стр. 15.

шотландского уединения английский романист приветствовал Давыдова как «человека знаменитого, которого подвиги, в минуты величайшей опасности его отечества, вполне достойны удивления».¹

В февральской книжке «*Révue encyclopédique*» за 1828 г. говорится, что Денис Давыдов — «один из наиболее выдающихся современных поэтов России» («est un des poètes modernes des plus distingués de la Russie»).

Эти примеры восторженных отзывов о Д. Давыдове можно было бы очень расширить; укажем лишь, что предшественник Скриба по французской академии, известный в свое время французский поэт Арно, узнав о давыдовском переводе его стихотворения «Листок» на русский язык, в примечаниях к своим сочинениям указал, что «г. Давыдов один из тех людей, которые, родившись с даром поэзии, занимаются ею лишь по настроению и для того, чтобы отдохнуть от войны и наслаждений». Здесь же была напечатана следующая «посылка» Давыдову:

Тебе, поэт, тебе — кто был бойцом,
Кто залпом пьет вино на бреге Ипокрены,
Кто некогда дубовый лист смиренный,
Я знаю, сделал лавровым листом.²

III

Давыдов считал себя прежде всего военным, партизаном, и только потом уже поэтом. Мало того, как и поэт он продолжал считать себя военным. Военная тематика преобладает в его стихах. Стало быть, анализу творческого пути Давыдова должен предшествовать разбор деятельности его как военного. Свидетельства современников и, главным образом, собственные сочинения Давыдова дают богатый материал для определения роли его в многочисленных войнах первых десятилетий XIX века. Собственные показания поэта нуждаются в основательной проверке: нельзя отрицать, что Давыдов очень заботился о своей военной славе и слишком много говорил о собственных боевых заслугах. Давыдов прекрасно знал восторженное мнение современников о себе, и всячески старался его использовать. В письме к Языкову Давыдов сам подытожил это общее суждение современников. Он смотрит на себя как на живую страницу истории и всячески старается, чтобы память о нем дошла до потомства:

«Я уже некогда говорил о том Вяземскому, Пушкину и Боратынскому, говорю и вам о том же: напишите (после моей смерти) общими силами некрологию мою и произведите на свет не пролетный листок для Воейковского «Инвалида», а что-нибудь такое, которое бы осталось надолго. Шутки в сторону и не в

¹ Д. Давыдов. Сочинения, 1860, т. III, стр. 4.

² Переведено с французского мною. В. С.

похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда...»¹

Однако, ждая своей смерти, чтобы быть, наконец, прославленным, было не по душе стремительному певцу биваков. И уже в двадцатых годах он за подписью «О.Д.О.» сам пишет и печатает свою биографию, патетически восхваляя партизана-поэта, окружая романтическим ореолом его боевую и литературную славу. В этой биографии он не скупится на восторженные отзывы и об участии своем во всех войнах эпохи, и о подвигах своих, как «любownika гульливых барышен Парнасса». Он пел «как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем», пишет о себе Давыдов, и это определение кажется ему особенно удачным; оно повторяется и в его переписке.

Давыдов был славолюбив, очень заботился и о своей репутации среди современников, и о величии своей славы в потомстве. Не стеснясь, он часто хвалил самого себя.

Впоследствии эта черта характера Давыдова отмечалась неоднократно. «Давыдов, не трогая таланта его, был мелкий хвастун», писал Плетнев в 1849 году, «и все биографии о нем написаны им самим, где он рассыпался в похвалах себе».² Рецензент «Русского Слова» отмечает в 1860 году, что автобиография Давыдова «замечательна неслыханным самохвальством».³ «Жаль, что Давыдов, снедаемый честолюбием, не доволен титулом храброго офицера и гениального поэта, и слишком много и часто, в прозе и в стихах, говорит о себе и подвигах своих печатает в разных видах свою биографию», утверждает в своих «Записках» Михайловский-Данилевский.⁴ «Я не любил его самохвальства и того, чем он хвастался», говорит А. И. Тургенев.⁵ «Это был ловкий человек: он при жизни приобрел в 10 раз более славы, чем заслужил», свидетельствует Э. И. Стогов.⁶ «Он более выписал, чем вырубил себе славу храбреца. В 1812 году быть партизаном значило быть наименее в опасности, нападая ночью на усталых или врасплох. Я очень люблю его, но он принадлежит истории, а история есть нагая истина», сообщает А. А. Бестужев.⁷

Было бы неверно думать, что эта исключительная забота о своем имени объяснялась исключительно славолюбием Давыдова, его самовлюбленностью. Правда, скромность не принадлежала к числу недостатков знаменитого партизана-поэта. Но главное, конечно, было не в этом.

Давыдов был человеком обиженным и обойденным. История его военной службы не только история походов, битв и мирных

¹ Сочинения, т. III, стр. 203

² Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, 1896, стр. 412.

³ «Русское Слово» 1860 г. т. VII, стр. 72.

⁴ «Исторический Вестник», 1892, т. 49, № 8, стр. 300.

⁵ «Остафьевский Архив», т. IV, стр. 72 — 73.

⁶ «Русская Старина», 1903, № 2, стр. 272.

⁷ «Русский Вестник», 1862, т. 32, стр. 323.

войсковых учений: это и история того, как обиженный и обойденный во время войны, он «бракует» себя из списка генералов в мирное время. Стоит снова вспыхнуть войне и, выраженная романтически самым поэтом, история эта выглядит так: «Возникает новая буря, и я являюсь подобно алькиону, белеющемуся на черном небе. Война в Персии, и я тут, бьюсь и кочую у подножия Арарата». На самом же деле, все обстоит не так выпендрено и высокопарно. Не как «алькион» попадает Давыдов на поля сражения. Униженные просьбы, ходатайства, бесперывное писание писем всем выслужившимся друзьям предшествуют появлению Давыдова на передовых позициях. Начальство чаще всего только терпит Давыдова и всячески мешает его дальнейшему продвижению. Обиженный и обойденный, он снова возвращается в свое деревенское уединение как только умолкают голоса пушек. Военная его биография опять превращается не в историю службы, а в историю того, как он собирается служить.

IV

В своей речи на конференции хозяйственников тов. Сталин дает следующую характеристику русской военной истории: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная», — стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уж закон эксплуататоров — бить слабых и отсталых. Волчий закон капитализма».¹

Эти слова — не случайно оброненные фразы, а глубокое подытоживание той громадной работы, которую проделала марксистско-ленинская историческая мысль за последние десятилетия. История старой России, в частности летопись ее военных «побед» и поражений, предстает перед нами, в обобщающих словах Сталина, в подлинном, неприкрашенном виде. В свете марксистско-ленинского анализа рушатся легенды, созданные хвастливой буржуазно-помещичьей историографией. Все узловые этапы исторического развития России дают драматические свидетельства того, как верна характеристика тов.

¹ И. В. Сталин. О задачах хозяйственников, 1931, стр. 13.

Сталина применительно к решающим моментам истории девятнадцатого столетия.

Легенда об отечественной войне, как войне национально-освободительной, давно уже разоблачена марксистско-ленинской исторической наукой. Давно потускнел романтический ореол, прикрывающий «полководцев», занесенных в «анналы» русских военных «побед» 1812 г. Но, все же, я возвращаюсь в настоящей статье к этим вопросам, так как творчество и биография Давыдова дают не мало интересного, бытового и литературного, материала о русской армии первых десятилетий девятнадцатого века.

Рассмотреть этот материал интересно потому, что именно здесь мы найдем ключ к уяснению истинного места партизана-поэта в борьбе социальных группировок эпохи.

В одной из своих статей, посвященных вопросам военного дела, Давыдов с присущим ему остроумием рассказывает о бессарабском походе фельдмаршала князя Прозоровского в 1807 году. «Девяностолетний князь Прозоровский, одержимый хирагрой, подагрой, слепотой и сильным трясением в руках и ногах, находил нужным для поддержания своего здоровья натираться ежедневно мадерой. Этот старец, не лишенный мужества, был человек ограниченный и в высшей мере самонадеянный, питавший глубокую ненависть к Потемкину [умершему за 16 лет до этого похода — В. С.] и потому избегавший позиций, некогда занимаемых князем Тавриды, он избирал нередко для своих войск места, где свирепствовали изнурительные болезни. Хотя его войска совершали свои переходы в течение целого дня, но они не делали более 12 верст в сутки. Причина того заключалась в построении армии: обозы следовали в середине огромного карре, которое, подвигаясь весьма медленно, должно было перестраиваться при переправах через каждую речку. Фельдмаршала, сопровождавшего армию на маленьком клецкере, ссаживали с него у каждого кургана». Помощником Прозоровского был М. И. Кутузов — в то время уже шестидесятидвухлетний старик, «страдавший от полученных прежде ран и расслаблением в ногах, отчего он передвигался как будто на лыжах; несмотря на палящие жары Кутузов отправлялся ежедневно в полной форме с паролем к фельдмаршалу, который, говоря с ним, называл его всегда молодым человеком».¹

Эта великолепная жанровая картинка верно передает дух русской армии александровской эпохи: бездарность и самодурство высших военачальников, чиновничество, отсутствие надлежащей тактической выучки, техническую отсталость. Не следует думать, что Прозоровский в данном случае является исключением из общего правила. Посмотрите записки Давыдова о других генералах, прославленных лакейской историографией, и вы увидите, что Прозоровский был не последним по боевым «достоинствам» генералом александровской России.

¹ Давыдов, Сочинения 1860 г., т. II, стр. 54.

Официозные историографы дали впоследствии приукрашенное изложение событий 12 года. Но не приходится и говорить о том, что подлинная история событий зачастую сознательно извращалась ими.

В. Семевский рассказывает об истории 12 года, писанной Михайловским-Данилевским: «Одно из достоверных лиц сообщило нам, что оно видело записку, которой Михайловский-Данилевский приказывает чертежнику планов к его истории *передвинуть гору*, потому-де, что она не приходится к его велеперечивому рассказу».

На полях сражения 1812 года русская армия еще раз показала всю свою слабость и отсталость. Не было в истории войны сражения, в котором дело обошлось бы без непростительных промахов командования. Достаточно сказать хотя бы, что в решающие минуты Бородинского сражения большая часть русской артиллерии по недоразумению не была использована.

Русская армия была отстала технически, не имела надлежащей выучки и, кроме Барклай де Толли, в ней не было ни одного талантливоего стратега. Еще хуже было состояние русской армии при Николае Палкине. Разгром русской армии в Крымской кампании «подытожил» весь пассив палаческой системы государственного управления.

Почему же, несмотря на все это, царское правительство умело держать в своих руках власть над страной?

«Всемирный опыт буржуазных и помещичьих правительств выработал два способа удержания народа в угнетении. Первый — насилие. Николай Романов I-Николай Палкин, и Николай II-Кровавый — показали русскому народу максимум возможного и невозможного по части такого палаческого способа».¹

Слова В. И. Ленина прекрасно показывают, какими способами удерживало власть правительство Александра I и Николая Палкина. Для того, чтобы удерживать власть в своих руках, правительство должно было создать свою бюрократическо-военную машину. Для крепостнического государства чиновничество или бюрократия, по справедливому замечанию М. Н. Покровского, «является такой же необходимою принадлежностью, как варварская система наказаний или государственная тайна».

Чины и ордена были средствами подняться вверх по служебной лестнице, и немудрено, что среднее дворянство жадно тянется к этим знакам силы и могущества.

Огромная бюрократическо-военная машина работает на полном ходу, и крупное чиновничество бесконтрольно управляет Россией. Средние крепостники не всегда ладят с чиновничеством.

Покровский говорит, что «для знатнейшего дворянства дело уравнивалось тем, что оно получало чины, не служа. Но провинциальные помещики всецело зависели от местных крупных чиновников».

Это относится, конечно, не только к чиновничеству, но и к военной бюрократии. Усиливаются привилегированные военные части, в которых меньше всего занимаются военным делом, ставя на первое место шагистику. Попасть в гвардию — значило ничему не научиться в военном деле. Недаром Давыдов писал сыну, что «скрепя сердце дозволяет вступить в юнкера гвардейской артиллерии, а не в артиллерийское училище».

«Война портит войска», — говаривал великий князь Константин, и в этих словах заключена вся философия военной бюрократии эпохи. В мирное время войска должны парадировать, а не готовиться к войне: учиться войне они сумеют и в военное время. Для жестокого же, палаческого подавления малейшего народного возмущения, для того, чтобы убивать беззащитных людей, не обязательно учиться военному делу. «Искусство» палача несложно. В своих «Записках» Давыдов дает характеристику военной системы этого времени.

«Глубоким изучением ремешков, правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие устав верхов непогрешимости». «Ряды армии постепенно пополняются лишь грубыми невеждами, с радостью посвящающими всю свою жизнь на изучение мелочей боевого устава; лишь это знание может дать полное право на командование различными частями войск, что приносит этим личностям значительные, незаконные материальные выгоды, которые правительство повидимому поощряет».

Критика, которую дает Давыдов военной системе николаевской эпохи, убийственна; но не следует однако думать, что Давыдов критикует руководство русской армии с классово-враждебных позиций: сам он плоть от плоти и кровь от крови крепостнического строя.

Конечно, были в русском дворянстве элементы революционно настроенные.

«Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики — декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».¹

Но таких, как декабристы, в среднем дворянстве было ничтожное меньшинство. Основную массу среднего дворянства составляли крепостники. Давыдов был крепостником, но он не мог примириться с бюрократией военной системы. У него не было расхождений с военной бюрократией по вопросу о том, где и почему следует воевать. Надо усмирять Персию? Пожалуйста, Денис Давыдов согласен идти на передовые позиции. Кровью и железом надо утихомирить Польшу? И здесь ничто не вызывает возражений Давыдова.

Споры с военными бюрократами у него были по другому

¹ Ленин. Сочин. т. XX, стр. 327—328.

¹ Ленин, т. XV, стр. 465.

поводу — прежде всего, по вопросу о системе, установившейся в армии. Резко враждебный высшей военной бюрократии, Давыдов кое как еще мог оставаться в армии во время боевых действий, но во время мира он был уже явно непригоден для армейской службы.

«Я хочу в мирное время избежать гусиного шага, а в военное — покоя и бездействия», — писал Давыдов Закревскому.

Отрицание николаевской системы, соединенное с чрезмерной идеализацией военной системы Суворова и его последователей, характерно не только для одного Давыдова. По существу, ту же точку зрения выражает безымянное стихотворение «Жизнь нынешних гусаров» (1840 г.).¹

Вот участь нынешних героев:
Бежать покоя, как огня,
При звуке барабанных боев
Шагать, молчание храня.
За славой хочет кто гоняться,
Устав тот должен протвердить,
Рекрутской школою заняться
И в караул уметь ходить.
Споровка, верный шаг в параде,
У нас умеют вас ценить
И лучший путь к большой награде —
Уметь ходить и такту бить.

Военная бюрократия мстила Давыдову за его ненависть к ней. Недаром, подытоживая свою жизнь, Денис Давыдов в письме к сыну пишет, что «в течении сороколетнего, довольно блистательного моего военного поприща, я был сто раз обойден, часто притесняем, и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловерными».²

Рассказы о том, как его обходили чинами и орденами, занимают немалое место в записках и письмах партизана-поэта.

«Что за странность», — пишет он в 1831 г. Закревскому, — «что по сие время мне еще не прислали Георгия 3-го класса, тогда как представление об этом пошло из главной квартиры вот уже 2 месяца с половиной».

Фельдмаршал Дибич, один из ненавистнейших Давыдову представителей военной бюрократии, мстил Денису и после смерти. Георгия 3-ей степени, того креста, который Давыдов особенно хотел получить, ему так и не пожаловали.

Все вышесказанное объясняет отношение Давыдова к военной бюрократии и объясняет ненависть Давыдова к штабному офицерству и военному чиновничеству. Описывая свое посещение главной квартиры после неудачной Березинской операции, Давыдов не без язвительности говорит:

«Сколько я тут видел чиновников, украшенных разноцветными орденами, ныне возвышенных и занимающих высокие

должности; их в то время водили по Главной Квартире подобно слонам Великого Могола! Сколько я там видел ныне значительных особ, тогда теснившихся в многочисленной свите Главнокомандующего и жаждавших не только приветствия и угощения, но единого его взора. Умолчу о подлостях, говоренных ими даже и мне недостойному».

Храбрость Давыдова неоднократно отмечалась начальством. О ней находятся упоминания и в рескриптах Александра Первого, и в донесениях Ермолова, и в приказах Кульнева, и в письмах Коновницина. Однако, и храбрость не продвинула его вверх по лестнице иерархии.

Теоретические работы Д. В. Давыдова, посвященные вопросам партизанской войны, представляют несомненный интерес, хотя значение их и снижается переоценкой роли партизан в войне 1812 года. Однако в течение XIX века работы эти были признаны классическими и на Западе. Недаром определение качеств «подлинного» партизана в ряде работ основывается на сочинениях Давыдова.

Военные бюрократы, и прежде всего сам Николай, приняли теоретические изыскания Давыдова без особенного восторга. Не Давыдову, а «немцу» Толю, представителю официальной военной науки, было поручено Николаем написать работу об опыте партизанских действий в «отечественную войну». Все это было обидно Давыдову, но и в данном случае он не оказался на должной принципиальной высоте. В его письмах того времени находим неоднократные просьбы о представлении книги царю. Когда же ничего из этих униженных просьб не получилось и хлопоты Давыдова не увенчались успехом, он снова становится в позу и решительно заявляет, что «парадиры» победили его и на этом участке военного дела, что «рассуждение о выпуске на погонах и о цвете темляков оказалось гораздо важнее, чем его военные работы».

Так неудачно складывалась военная биография Давыдова. Литературные друзья Дениса видели только одну ее сторону — эффектную, блестящую, прославленную историками и журналистами. В сознании же самого Давыдова, очевидно, все перевешивала вторая сторона — обиды, унижения и притеснения, которым он подвергался. «Мою судьбу попрали сильные», говорит он в «Бородинском поле». Эти слова сказаны не напрасно.

Естественно, что, разбитый на пути иерархического продвижения вверх по служебной лестнице, Давыдов хочет дать реванш своим врагам на страницах истории. Он — самая поэтическая личность в русской армии, имя его должно перевесить в глазах потомства значение военных бюрократов. Отсюда заботы о своей славе, порой доходящие до смешного.

В отношении Давыдова к Михайловскому-Данилевскому четко отражается вся двойственность его принципиальной позиции. В ряде высказываний Давыдова есть презрительные заявления о «выходках» Михайловского-Данилевского, но, боясь того, что официальный историограф, узнав о нелестных отзывах Давыдова, отомстит поэту-партизану умолчанием о

¹ Цитирую по «Русской Старине» 1887 г. № 10, стр. 144.

² Сочинения, 1860, т. III, стр. 167.

его подвигах, Денис никак не показывает велеречивому исторiku своего отношения к нему.

«Тебе—певцу, тебе—герою»,—писали поэты, и этому романтическому ореолу, окружавшему партизана-поэта противостояли подлинные, неприкрашенные страницы его военной биографии! Тут было такое же противоречие, как между портретом Кипренского и «крошечным носом пуговицей». Из странных противоречий была соткана судьба этого человека.

V

Была еще одна причина, затруднившая, после 1825 года, военную карьеру Давыдова: он был двоюродным братом Ермолова. Всей внешностью своей, громадный, величественный, с замечательным атлетическим телосложением, Ермолов был полной противоположностью маленькому и суетливому Давыдову.

Он был военным деятелем гораздо более крупного масштаба, и в последние восемь лет царствования Александра I был «проконсулом» Кавказа, фактическим правителем только что покоренной русскими штыками страны.

Жестокость Ермолова при покорении Кавказа общеизвестна, хотя он и был «человек просвещенный в духе XVIII века, гордившийся просвещением и считавший себя призванным водвориться во вновь покоренных Россией землях».¹

Однако, как и Давыдов, Ермолов был врагом военной бюрократии.

В канун декабрьского восстания Николай сознавался, что верит Ермолову менее всех. Победив декабристов, Николай выяснил во время следствия, что заговорщики намечали Ермолова на высокий пост в новом правительстве. Пестель показывал, что у отдельных групп заговорщиков был замысел о создании династии Ермоловых. Войска Кавказского корпуса беспредельно были преданы Ермолову. Он был очень популярен в обществе, как один из героев 12-го года. Некоторые группы заговорщиков шли на отделение Грузии от России, на завоевание Хивы и Туркестана для создания там нового государства, в случае подавления вооруженного восстания. Они надеялись, что Ермолов сумеет выполнить все эти смелые и фантастические планы.

Понятно, что такой человек ненадежен, и Николай решил во что бы то ни стало убрать «проконсула». При первой представившейся возможности, во время персидской войны, он послал на Кавказ Паскевича. С самого начала между Ермоловым и Паскевичем начались разногласия, приведшие к тому, что положение Ермолова еще более пошатнулось.

¹ М. Н. Покровский, *Дипломатия и войны царской России*, стр. 185.

На Кавказе не ясно еще было, какова будет дальнейшая судьба Ермолова, но в скором времени вопрос этот был разрешен в Петербурге.

«Зависит ли Паскевич от Ермолова»,—пишет Давыдов 5 января 1827 года, — «когда он смеет гласно и явно критиковать его и пишет мимо его к самому государю».

«Я боюсь»,—писал Давыдов, — «чтобы Ермолова навсегда не зарыли в Грузии. Это место, конечно, хорошо и блистательно, но не так, чтобы в нем зарыть такие достоинства, как Ермолова. Для такого человека, как он, оно должно бы быть подножием к высшим степеням, то есть к месту главнокомандующего главной нашей армией».

Давыдов напрасно опасался, что правительство зарует Ермолова в Грузии. «Хорошее и блистательное место» было отдано другому. Старый генерал оставил армию, оставил проконсульство и ушел на покой.

4 октября 1827 года Давыдов уже писал, что «брат Алексей забьет в Орловской губернии, теперь занимается строением какого-то чулана для своей библиотеки».

Близость Давыдова к Ермолову, однако, долго еще не была забыта. После смещения Ермолова Давыдову пришлось еще больше смириться перед всемогущими бюрократами.

VI

Последовательность крепостнической позиции Дениса Давыдова можно установить и по его отношению к деятельности П. Я. Чаадаева, одного из крупнейших представителей оппозиционной общественности того времени, человека с трагической и интересной судьбой. В 1835 году, в письме к Пушкину, с молодости высоко ценившему Чаадаева, Давыдов пишет:

«Я всегда почитал его весьма умным шарлатаном в беспрерывном пароксизме честолюбия, но без духа и характера, и напому, если бы ты не вызвал меня, я бы о нем промолчал, потому что не люблю разочаровывать».¹

Проходит несколько лет после написания этого письма, и в 1840 году в альманахе «Утренняя заря» появляется «Современная песня», по словам А. И. Дельвига² дурно принятая «московским обществом, которое находило неприличным смеяться над теми, которые находятся на дурном счету у правительства, а тем как бы стараться ему подслужиться». — «Современная песня», направленная против Чаадаева, по существу, как бы ни оправдывал Давыдов ее написания тем, что в «Философических письмах» был «пасквиль на русскую нацию», — ставила Давыдова на одну доску с высмеянным в этом же сти-

¹ Сочинения, 1860, т. I, стр. 142.

² А. И. Дельвиг, *Мои воспоминания* 1912, т. I, стр. 253.

² Денис Давыдов.

хотворении Ф. Ф. Вигелем,¹ написавшим донос на автора «Философических писем».

Последовательность крепостнической позиции Давыдова неизбежно вела его к смычке с бюрократией, как бы резко ни критиковал он бюрократическое чиновничество в своих произведениях. С чиновничьей бюрократией ему, по существу, было все-таки по пути, — оппозиция же николаевскому строю была органически чужда и враждебна Давыдову. К позиции Давыдова можно целиком применить слова М. П. Покровского: «Помещик и чиновник могли писать друг на друга жалобы по начальству, но против мужика они стояли локоть к локтю». Один эпизод из эпохи двенадцатого года прекрасно подтверждает это.

«Один крепостной», рассказывает Давыдов, «убил управителя села Городища, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы этого села и стрелял по казакам». 21-го Давыдов получил повеление «расстрелять преступника». «22-го поутру преступника исповедили, надели на него белую рубаху и привели под караулом к той самой церкви, которую он грабил с врагами отечества. Священники стояли перед нею, лицом в поле, на одной черте с ними взвод пехоты. Преступник был поставлен на колени. Его заживо отпели. Надеялся ли он на прощение? Укоренилось ли в нем безбожие до высшей степени, или им овладело отчаяние, но он во все время ни разу не перекрестился». Расстреляв этого преступника, Давыдов со своей партией «окружил зрителей, в числе коих хотя и не было ни одного изменника и грабителя, но были однако ослушники начальства. Имея список виновных, я стал выкликать их по-одиночке и наказывать нагайкой».²

Эта «идиллическая» картинка показывает Давыдова последовательным крепостником еще за много лет до «Современной песни». Когда было необходимо, этот крепостник во время войны 1812 года считал необходимым не только «говорить языком черни, но принаравливаясь к ней, к ее обычаям и одежде». Недаром он «надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена Анны навесил образ святого Николая и заговорил языком вполне народным». Эти примеры прекрасно показывают, какой основательной проверке подлежат рассказы Давыдова о роли партизан в «отечественной» войне.

Здесь дело не в том, что Давыдов не был первым русским партизаном³ и что Фигнер и другие партизаны 12-го года имеют не меньшие, чем он, боевые заслуги. Для нас несомненно, что Давыдову вообще существенно значительное преувеличение роли партизан в «отечественной» войне. В самом деле, партизанский отряд мог действовать успешно только в том слу-

чае, если имел поддержку крестьян. Между тем, судя по собственным признаниям Давыдова, иногда пробивающимся сквозь верноподданническое изложение событий, явствует, что только переодевшись «под крестьянина», отпустив бороду, мог Давыдов рассчитывать на помощь мужиков.

При всей своей ненависти к военной и чиновной бюрократии, крепостник Давыдов был одним из ее защитников потому, что он хотел закрепления существующей системы крепостнического гнета.

VII

Место Давыдова в развитии русской поэзии значительней, чем его роль в других областях общественной жизни. Он стоял на рубеже двух поэтических эпох и примыкал к группе поэтов, предшествовавших Пушкину. Поэтическая манера партизана-поэта была оригинальна и своеобразна. Он влиял на многих своих современников. Стихи его широко проникали в быт. Они главным образом стяжали Давыдову посмертную славу, о которой он так заботился. Наметим же основные вехи творческого пути Давыдова.

Первые стихотворные опыты Давыдова создавались под влиянием карамзинской школы, и самое первое из известных нам его стихотворений ничем не выделяется из общего потока подражателей русского сентиментализма.

Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить».

Басни «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало», — проявления юношеского либерализма, повлекшие за собой служебные неприятности, — вещи тоже подражательные и неоригинальные. Значительно более сильное произведение «Орлица, Турухтан и Тетерев», высмеивающее Екатерину, Павла и Александра, было последней вспышкой юношеского либерализма. В дальнейшем Давыдов навсегда становится верноподданным гусарским поэтом.

Первым произведением, в котором Давыдов нашел себя, было послание «Бурцеву». Послание к Бурцеву было написано не для печати. В это время на ряду с поэтами, печатающими свои стихи в сборниках и немногочисленных повременных изданиях, существовало большое количество поэтов дилетантов, не задающихся никакими особыми литературными целями, пишущих альбомные стихи, послания к друзьям и стихотворные объяснения в любви. Таких дилетантов не мало

¹ См. комментарий В. Н. Орлова.

² Давыдов, Сочинения, т. I, стр. 38.

³ Д. Мясоедов — в «Историческом Вестнике» 1903, т. 94, стр. 828 — 834 — называет первым русским партизаном А. Д. Лесли.

было и среди военных, — стихи Давыдова входили в русло этой рукописной поэзии. Но поэтическая талантливость Давыдова, может быть и помимо собственной воли, вела его к обобщению образа Бурцева как образа старого гусара, ёры и забияки вообще, к созданию литературной личности и самого поэта как типичнейшего представителя старых гусаров, тоже ёры, пьяницы и забияки, и тем самым делала эти стихи значимым литературным произведением.

Оригинальностью Дениса Давыдова как военного поэта объясняется, прежде всего, что он не стал поэтом батальным. В противоположность батальной поэзии XVIII века, воспевшей походы и завоевания русских войск в высоком, одическом стиле, Давыдов был по преимуществу поэтом офицерского быта. Война, походы, гром пушек и треск ружейных залпов, подвиги полководцев и «слава» российского оружия, воспетые поэтами прошлой эпохи, были для Давыдова только фоном, и этот фон он писал бегло, небрежно, не занимаясь особой отделкой деталей. Мало того, описывая боевые эпизоды, он только тогда был на достаточном уровне мастерства, когда и романтику боя брал с ее бытовой, несколько комической, стороны. Кульнев, полководец, к которому Давыдов относился с большой и искренней любовью, описан Давыдовым совсем не так, как должен он был явиться в классической оде:

Поведай подвиги усатого героя,
О, Муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке ночевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.
Румяный Левенгольм на бой приготавлился
И, завязав жабо, прическу поправляя,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингсгора пресмыкался.
О, храбрые враги, куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.

Оковы классической оды разбивались Денисовым, и именно в этом была оригинальность его поэтической трантовки военного материала. Давыдов правильно понимал, что ему под силу только разрушить, спародировать классическую манеру. Более широкое задание — не только разрушить чуждое среднему дворянству, но и критически усвоить то, что было лучшего в этом стиле, Давыдов выполнить бы не смог — эта задача была разрешена Пушкиным.

«Дым биваков» для Давыдова только фон, на котором выписаны старые гусары, офицерский быт, а самый бой дает он «общими» словами:

... Чу! Гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу!

Мало того, чисто батальный материал Давыдов дает не в плане «гусарских» стихов своих, а в том «роде», которому Бестужевым присвоено название «нежного». «Бородинское поле» прежде всего дает Давыдову повод элегически вспоминать, что

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.

«Давыдов составил, так сказать, особый род военной песни, в которой язык и краски ему одному принадлежат», — писал Плетнев,¹ и это замечание нельзя не признать верным. Своеобразие военных песен Давыдова, прежде всего, заключается в том, что он первый показал картину старого офицерского быта. Малопривлекательна и тупа эта жизнь с нашей точки зрения, но среднее дворянство привлекала патриархальная экзотика этого быта, и успех военным песням Давыдова был обеспечен.

Песни Давыдова, такие его стихи, как «Бурцев, ёра, забияка» или «Где друзья минувших лет», входили в быт военной школы, были любимыми песнями кадетов тридцатых годов.

У Давыдова мы не встретим таких стихов, как у другого, ныне забытого военного поэта того времени, писавшего, что

Кавказ отгрянул гром побед,
Аракс смутил свои пучины,
И эриванские вершины
Познали исполинов след.
Герои с Севера восстали,
Врагу отмщением горя,
И Персии ограды пали
К подножью русского царя.

Трубки с табаком, сабли, пуншевые стаканы, чернобурые, в завитках, усы, водка, гусарский конь — все это привлекает внимание Давыдова, и тупой незамысловатый офицерский быт того времени четко предстает перед нами в отличных стихах партизана-поэта.

Гусарская песня была одним жанром, в котором работал Давыдов. Другим излюбленным жанром Давыдова была элегия. Давыдов-элегик и Давыдов-гусар — два разных поэта, и только в некоторых давыдовских стихах оба эти истока объединяются в единое целое.

Эти две стороны творчества Давыдова были ясны и современникам. Вот некоторые суждения, показывающие, как четко дифференцировались две противоположные струи его творчества современной Давыдову критикой.

«Два светлые ключа независимо один от другого. Один тихо катит воды свои; он ясен и чист, как глаза невинной девы;

¹ Сочинения и переписка Плетнева, т. I, стр. 182.

другой стремится бурно, и рокотом, громом своим будит внимание странника: он блещет и сверкает как сабля наездника. Такова стихотворная поэзия Давыдова. В ней видите вы дух совершенно различных певцов. Один — весь любовь, со всеми ее нежными очаровательными оттенками. Другой — полное выражение вакхической радости, которая мелькает в стане воинском, между биваком и смертью».¹

О «нежном и гусарском» родах поэзии Давыдова говорит и А. Бестужев:

«Амазонская Муза Давыдова говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени Бивуака, и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют опыт. Иногда он бывает нерадив в отделке. Но время ли наезднику заниматься убором? — В нежном роде — «Договор с невестою» и несколько элегий; в гусарском — заветные послания и зачатые песни его останутся навсегда образцами».²

Путь от элегии к сатире и бытовой гусарской песне был труден и не всегда удачен. Очень часто замысел противоречил исполнению, и читатели истолковывали вещь иначе, чем это хотелось автору. Вот, например, что написал Давыдов о своем стихотворении «Договор»:

«Стихотворение это, напечатанное в 1808 году в «Вестнике Европы», принято было за элегию, тогда как оно, под личиною элегии, есть чистая сатира на старых холостяков, заключающих брачные союзы с молодыми светскими девушками. Впрочем сему ложному понятию виною был я сам, не выразив как видно мысли моей с достаточной ясностью. Вот почему решаюсь вторично выдать в свет стихотворение это, по умению моему сколько возможно исправленным».

Интересно проследить, как переделывал Давыдов эту элегию в сатиру. Прежде всего следует заметить, что Давыдов делает более грубым язык своего героя. Вместо:

Что ж делать, признаюсь, люблю тебя, люблю
он пишет в новой редакции:

Довольно!.. я решен: люблю тебя, люблю

Вместо:

И тут я притеснен толпою безрассудных
Несносных волокит

появляется новый вариант:

И тут я сволочью нахалов безрассудных
Затолкан до смерти.

¹ «Московский Телеграф» 1832, № 13.

² «Полярная Звезда» на 1823 г., стр. 27—28.

Переделывая эту элегию, Давыдов приближает ее по лексике к своим гусарским песням.

Описания людей в корне перерабатываются, делаются более реалистическими, жизненными, чему помогает и самый лексический принцип переделки.

В первой редакции было:

Как можно принимать. — Признаться между нами
Что их ни дружба, ни любовь,
Ни посещения не могут быть приятны,
И что за счастье — иметь собранья знатны,
Тьму обожателей, в шуму их обитать,
Безумно умствовать, без толку толковать.

Во второй редакции эти строки звучат уже по другому:

...Ехидных языков
Я, право, не боюсь. Но модных болтунов
Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами.
С очками на носу, с надутыми брыжжами —
Как можно принимать?

✓ Пример этой переработки показывает, что Давыдов понимал необходимость синтеза обеих сторон своего творчества. Синтез этот шел через разрушение старой элегической формы и наполнение ее новой лексикой, новым содержанием. От старой элегии в этих новых стихах должна была остаться только эмоциональная зарядка.

Снижение высокой военной тематики и переключение ее на быт роднит Давыдова с крупнейшими представителями прозаической поэмы XVIII века. Смелость лексики Давыдова, ее грубость и нарочитая простонародность сближают Давыдова с Крыловым. Недаром, воспитанный на старых литературных традициях, А. И. Тургенев возмущался иногда «подлостью давыдовского слога» (его возмущали слова: бородавки, мошки да букашки, червяк голодный, почешет и др.), подобно тому, как графа Блудова злила «свинья с виньетками», появившаяся на страницах басен Крылова.

Влияние солдатского фольклора, снижение уже ставшего условным, эстетически уже превратившегося в свою противоположность, дворянского стиля екатерининской эпохи вело Давыдова к использованию опыта буржуазной поэзии XVIII века и некоторому демократизму поэтического языка. Правда, этот демократизм можно назвать демократизмом в кавычках — он был обращен не вперед, а назад, к укладу патриархального крепостнического быта, идеализированного Давыдовым.

✓ Рецензент «Сына отечества» в 1840 году отмечает «народность» стихотворений Давыдова: «так народен у нас Крылов, так народен Пушкин».

Послания Пушкина показывали его несомненную любовь к партизану-поэту. «Мне сладок жар твоих речей», — пишет он в

1821 году и на всю жизнь сохраняет хорошее отношение к «венчанному музой певцу», хотя, понимая слабые стороны личности Давыдова, впоследствии шутя говорит о нем как первом поэте среди военных и первом военном среди поэтов. Несомненно, что Пушкин понимал и узость стихотворной манеры Давыдова. Оригинальность в том смысле, в каком она является необходимой принадлежностью поэтов, по типу схожих с Давыдовым, неизбежно ведет к узости и ограничению стихотворных поисков. Недаром Пушкин смеется над Глинкой, «который заставил бога говорить языком Дениса Давыдова». Манера Давыдова была первоклассна на узком материале, и сам Пушкин нередко стилизовал ее. Поэту широкому, пытающемуся охватить в своем творчестве все стороны действительности, такая манера всегда должна представляться недостаточной.

Военная тематика входила в творчество Пушкина как одна из основных частей его тематики вообще. Не случайно, поэтому, Пушкин обнаруживал такой интерес к работе Д. Давыдова. Слова Пушкина о том, что «кручение стиха» Давыдовым дало ему возможность индивидуализировать свои стихи, нельзя принимать всерьез: истоки пушкинского творчества были гораздо сильнее и многообразнее. Несомненно, однако, что Пушкин, как более широкая и глубокая индивидуальность, брал многое от Дениса, поэта узкого, но оригинального. Многие из сказанного Денисом, он легко и свободно обращал в свой поэтический инвентарь. «Я исполню волю моего парнасского отца и командира», писал Давыдов Пушкину в апреле 1834 года.

Но и на этой службе трудной
И тут, — о мой наездник чудной,
Ты мой отец и командир,

отвечал ему Пушкин в 1836 году.

Один из эпиграфов к «Пиковой даме» — анекдот, рассказанный Давыдовым Пушкину. Любимая пословица Давыдова «Береги платье снову, а честь смолоду» поставлена эпиграфом к «Капитанской Дочке».

«Он обэскадронил все, что мог, из своей сволочи и представляет команду эту на суд читателя с ее странной поступью, ее обветшалыми ухватками, в ее одежде старомодного покроя» — пишет о себе Давыдов в двадцатых годах.

Из мелкой сволочи вербую рать...

...Ширванский полк...

Уж люди мелочь, старички кривые, —

пишет Пушкин о своих стихах в «Домике в Коломне» (1830 г.). Здесь сходны не только отдельные выражения, но и самая конкретизация поэтического образа.

Литературная деятельность Дениса Давыдова примечательна в том отношении, что она является развитием и высшим дости-

жением литературной линии, довольно значительной, имеющей многочисленных представителей в литературе того времени. Давыдов был не единственным военным поэтом эпохи. Исключительная талантливость партизана-поэта привела к тому, что только его имя сохранилось в истории литературы как первоклассное завершение немалозначительной литературной линии. Деятельность военных литераторов того времени шла по двум направлениям. Одна линия представлена гусарскими поэтами, пишущими гусарские вирши в стиле Дениса Давыдова, перепевающими темы любви, выпивки, боя. Стихи этой группы написаны для тесного офицерского круга и лишь изредка выходят за его пределы, попадая на страницы печати.

Таковы многие стихи подражателей Давыдова, воспевающие бурбонство гусаров, их ёрничанье, поэзия замкнутой, паразитической офицерской касты; вот, например, «Гусарская песня», стихотворение двадцатых годов:

Вино, и сабля, и любовь
Гусарам радость и веселье.
Нальем вином бокалы вновь
И встретим смерть как новоселье,
Когда нам должно умирать...

Это стихотворение, эпигонствующее тематике Давыдова, никак однако не совпадает с теми стилистическими заданиями, которые разрешил партизан-поэт. В нем нет своеобразной лексики давыдовских гусарских песен, нет конкретизации темы через бытовую характеристику героев, наконец нет и конкретного показа людей. Конкретность давыдовского творчества вырождается у его эпигонов в абстрактную декларативность, в разговоры о вине, сабле и любви «вообще». Гусарские песни Давыдова всходили на других дрожжах — в этом была их сила; потому-то произведения эпигонов не могли повлиять на успех Дениса.

Творческим документом другой группы военных литераторов являлся сборник «Калужские вечера»,¹ изданный в Калуге. Объясняя цель издания этого сборника, составитель «Калужских вечеров» А. Писарев писал:

«Хотя разнствуем между собой местами, должностями, обязанностями, но одушевленные одною страстью к изящному, подвижемся дружнее к благороднейшей цели быть по силам своим полезными согражданами в самых даже малых досугах своих».²

Эпиграфом к сборнику были поставлены следующие слова «Владей мечом в бою, а лирой среди друзей»; задачи же сборника определялись следующим образом:

«Во время квартирования 2-й гренадерской дивизии в городе

¹ Материал этого сборника разобран Б. М. Эйхенбаумом. («Лев Толстой», т. I, 1928, стр. 129 — 130).

² «Калужские вечера», 1825, стр. 13.

Калуге (1817—1821) общество офицеров согласилось в продолжение долгих зимних вечеров собираться между собою и читать некоторые свои произведения по части словесности (также доставляемые им пиесы от посторонних), без всякого хвастовства и притязания на право литераторов, а и того менее для снискания славы остроумных или ученых, единственно же для своей забавы и на досуге от дальностей по службе.

В сборнике напечатан не только военный материал, но и ряд произведений, никаким образом с военной тематикой не связанных. В «Современной поэме» П. Свечина, посвященной войне 1812 года, описывается «сближение армий с обеих сторон к границам России, вторжение врагов в отечество наше, переход наш через Рейн, сражения на границе Франции, взятие областей, битва Бриэнская, стремление к Парижу», но рядом с этим материалом напечатаны и письма «2 жителей Перу» (подражание роману Графиньи «Перуанские письма»), «Жизнь и мнения нового Тристрама», забавное произведение в стернианском духе, и, наконец, «Мысли против ложной свободы» И. Цибульского. В стихотворении Цибульского на ряду с верноподданнейшими местами, утверждениями о том, что

...все в природе
зависимость являет нам,

есть любопытная строфа, которая может быть истолкована как некоторый отзвук новых веяний в предшествовавшую декабрьскому восстанию эпоху:

Предвечный ограждает троны,
Всех добродетельных царей,
Ему священны их законы,
Коль строят счастье людей.

Имя Дениса Давыдова, уже известного к тому времени партизана-поэта, в сборнике не упоминается.

Установка авторов сборника, «не притязающих на право литераторов»,¹ обща с литературной позицией Давыдова, который всячески старается подчеркнуть, что литературой он занимается дилетантски, любительски, не как профессионал, что он

...Иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током,
Мой независимый бивак.

¹ Военный сборник «Досуги Марса» (1834) имел примерно схожую установку:

Вот Альманах военный вам,
Вот офицерские досуги.

Главным мотивом, побуждающим Давыдова печатать стихи, по его словам была возможность получения гонорара: «Меня, милый друг Вяземский, — пишет он, — соблазнили деньги: я никак не хотел выдавать в 1832 г. стихов моих на поругание, но дают хорошую сумму, и я очертя голову пускаю их в океан бурь и противобурь».

Судя, однако, по ряду материалов, следует признать, что здесь у Давыдова преобладало другое. Он был типичным отпрыском своей социальной группы. Быть ёрой, забиякой и пьяницей русскому генералу никак не зазорно; пожалуй, даже наоборот — это делает его носителем военного бурболизма и забубенного молодечества. — Быть же профессиональным литератором не совсем удобно, так как он, Давыдов, прежде всего солдат и боец, и только потом литератор. Недаром Давыдов всюду подчеркивает, что он начинает писать только тогда, когда в нем заиграет «бес» поэзии.

В 1839 году Давыдов умирает в своем симбирском поместье. Имя его становится достоянием истории. «Предшественник полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»,¹ В. Г. Белинский дает еще высокую оценку поэтической деятельности Давыдова, но новое поколение разночинцев оценивает творчество партизана-поэта уже по-другому.

Шестидесятники, свергавшие с пьедестала Пушкина, не могли не обратить своего внимания на Дениса Давыдова. Счеты среднего дворянина Давыдова с чиновниками, представляющими бюрократическо-военную машину государства, к тому времени были забыты. Для шестидесятников Давыдов был прежде всего крепостником, ведь по этой линии и среднее дворянство и чиновничество были едины. Для шестидесятников он был выразителем духа и настроений ненавистной им палаческой военной системы. И рецензент «Русского Слова» показывает всю пустоту и ничтожность воспетого Давыдовым военного быта.

«Затяжки» и «оттычки» составляют повидимому весь смысл воспетой Давыдовым «гусарской жизни».

«Что может быть гаже, например, следующего признания в любви, именуемого «Решительным вечером гусара»?

«Что соединяет людей, по мнению Давыдова: водка и пунш, пунш и водка — для разнообразия, пожалуй, арак».²

Рецензия «Отечественных Записок», одобренная Тургеневым, не менее резко отзывалась о Давыдове. О поэзии Давыдова эта рецензия говорит как о поэзии дебоширства:

«Бывало, — пишет рецензент, — как проникнешься песнями старого гусара, так и пожалеешь, что ты еще на школьной скамейке, не бьешь окон у мирных соседей и не имешь права пить пунш ... как мы, школьники, боготворили вас, старого гусара ... Под этим юношеским впечатлением мы опять

¹ Ленин, т. XVII, стр. 341.

² «Русское слово», 1860, № 6.

перечли свои любимые стихотворения и ужаснулись ... Прощайте, Денис Васильевич! Не скоро опять возьмем мы в руки III том ваших сочинений». ¹

Оценка достижений дворянской литературы, сделанная шестидесятниками, была пересмотрена впоследствии. В наши дни интерес к Денису Давыдову возможен лишь чисто исторический и никто не станет писать памфлета против стихов Давыдова: и без того слишком очевидна подлость и тупость воспетого в них военного быта.

Тупость и палаческая жестокость бюрократическо-военной машины сделала даже такого крепостника, каким был Денис Давыдов, фигурой обиженной и опальной. Естественно, что это вызвало со стороны Давыдова разоблачения отдельных сторон современной ему государственной системы. Свидетельство партизана-поэта о невероятной отсталости организации русской армии интересно для нас как суждение современника, взглянувшего на ее режим со стороны.

Сохраняет свой интерес для нас и поэтическая работа Давыдова, талантливого художника, сумевшего в дни небывалого расцвета русской поэзии отстоять свое собственное место, продумать и завершить свой творческий путь. Молодая поэзия, учась у Пушкина и других величайших поэтов-классиков, не может пройти мимо поэтического опыта и такого второстепенного, но оригинального поэта, каким был Давыдов. Разоблачив легенду о Давыдове, показав его живым человеком, продуктом своей среды, со всеми ее недостатками и безвыходными противоречиями, мы все же можем признать, что творчество его представляет исторический интерес и для нашей молодой поэзии.

В. Саянов

ОТ ВОЕННОЙ ОДЫ К «ГУСАРСКОЙ ПЕСНЕ»

I

«Беспрерывные войны, веденные Россией со шведами, турками, поляками, татарами и горцами Кавказа, преобразовали нашу нацию в военную», писал Н. Любенков, вспоминая о Бородинском сражении. Ф. Булгарин, описывая канун «Отечественной войны», утверждал: «В гвардии и армии офицеры и солдаты были тогда проникнуты каким-то необыкновенным воинским духом, и все с нетерпением ждали войны».

Это бряцание оружием особенно звонко откликалось в военно-патриотической оде. Певцы «блестящего века» Екатерины ожили и стали на все лады воспевать подвиги российских полководцев:

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!

На самом деле «храбрый Росс» совсем не веселился и не рвался в бой. Положение внутри страны было очень напряженное и грозило серьезными конфликтами. Ни крестьяне, ни даже помещики вовсе не были охвачены тем «необыкновенным воинским духом», который померещился Булгарину. Нарастали крестьянские бунты, составлялись заговоры, рождались пораженческие настроения. Воинским духом была охвачена только придворная верхушка армии и высшие чиновные слои. Сам Булгарин признается: «Существовали две партии: мирная и военная. Одни хотели нейтралитета и мира с Францией, другие желали союза с Англией и войны с Францией».

На самом деле партий было гораздо больше, и положение было гораздо более сложное. Страна, быстро шагавшая по пути завоеваний, явно отставала по всем другим линиям — по линии развития народного хозяйства, по линии технических усовершенствований, по линии, наконец, общей культуры. Не удивительно поэтому, что одновременно с бряцанием оружия, особенно звонким в одах, раздавались и совсем другие звуки — пацифистского характера. В 1803 г. вышло, например, «Рассуждение о мире и войне», составленное по сочинению Бернардена де Сен-Пьера. Здесь между прочим говорится: «Привычка делает нас ко всему равнодушными. Ослепленны оною, мы не чувствуем всей лютости войны... Время нам оставить сие заблуждение и истребить зло, подкрепленное всего более невежеством». В «Северном Вестнике» 1804 г. книга эта была признана очень своевременной и полезной: «Привыкли мы к войне от

¹ «Отечественные Записки» 1860, № 4.

невежества, отвыкнуть от нее должны с истинным просвещением».

Это был голос оппозиционно-настроенной дворянской интеллигенции, в среде которой рождалась новая русская литература — будущие русские «классики». Здесь тема «храброго Росса» и самый жанр оды были признаны архаическими, отжившими свой век. В противовес оде выдвигались камерные, интимные жанры (элегия, послание), по самому своему существу враждебные всякой декламации, всякой агитационной и политической тематике. Поэзия объявлялась «свободной» от государственной службы — делом домашнего досуга, вдохновения. Декламационному, ораторскому стилю оды противопоставлялся язык интимных чувств — язык любви и дружбы, язык мирных дум и домашних занятий.

Но возобновившиеся империалистические войны требовали от литературы непосредственного участия в агитации — и в агитации самой примитивной, наполненной ложью, выдумкой и клеветой. Нужно было, помимо оды, создать популярную агитационную литературу для масс, чтобы победить их равнодушие и недоверие к новым военным авантюрам. Так явилась на свет многообразная лубочная литература — от «афишек» Ростопчина до всевозможных «солдатских» песен и маршей отнюдь не солдатского сочинения. Таков, например, знаменитый «Марш Русской Гвардии» («Пойдем, братцы, за границу Бить отечества врагов»), сочиненный С. Н. Мариним в 1807 г. Следуя образцам оды, Марин ставит здесь в пример «славный век Екатерины» — с Суворовым с Румянцевым, а в заключение обещает:

За французом мы дорогу
И к Парижу будем знать.
Там начальник, понемногу,
Каждому позволит брать.

Комментируя этот марш, Булгарин пишет: «Стихи эти удивительно характеризуют тогдашнюю эпоху». В таком же роде была «Солдатская песня», сочиненная И. А. Кованько и напечатанная в первой книжке «Сына Отечества» 1812 г. («Хоть Москва в руках французов, Это право не беда»).¹ Н. Греч: напечатанный это произведение, чистосердечно признается: «Паркетные умники утверждали, что не хорошо хвастать так бесстыдно и хвалиться несбыточными мечтаниями. Они не видели, что не должно хвастать в счастье, а ободрять дух народа в беде можно всеми способами, только не ложью и не обманом».

II

Лубочная военно-агитационная поэзия не осталась без влияния и на «высокую» литературу. Имевшаяся у архаистов «на-

¹ Оба эти произведения продолжали печататься еще в 70-х годах (см. «Боевые и народные песни 1812 — 1815 гг.» изд. 2-ое, Спб. 1879).

родническая» тенденция, боровшаяся за «просторечие», по-своему реагировала на заказ эпохи. Федор Глинка, издавший для «поселян» сказку про Луку да Марью, решил теперь сделать «Подарок русскому солдату» (1818 г.), составив нечто вроде народной хрестоматии или календаря. В приложенной к сборнику объяснительной статье («Цель сей книжки») Глинка пишет: «Издав книжку для русских поселян, как усердный их соотечественник, я оставался еще в долгу у русских солдат, как почитающий их сослуживец... Чтоб угодить более читателям сей книжки, я старался, сколько мог, придерживаться говорки солдатской, которой наслышался в походах и в лагерях от самих же солдат. Сказку про Луку да Марью старался я нагисать слогом народным, эту же книжку — солдатским слогом. А кто первый сотворил у нас быстрый (как скорый марш), легкий, живой и сильный солдатский слог? Суворов, великий Суворов! — Его тактика написана именно солдатским слогом. Зато солдаты знали и твердили ее наизусть, как любимую сказку или песню».

Впрочем, «солдатскую говорку» и суворовский стиль Глинка употребляет только в небольшой прозаической части сборника, описывающей день солдата — с утра до вечера. В стихотворном отделе, состоящем, как сам Глинка определяет, из «военно-исторических песен или романсов»; он следует другим образцам: «В Германии славились военные песни Вейса, и очень еще недавно молодой пиит и воин Кернер воспламенял песнями и соотчичей к благородной смерти за священные права народа и милую свободу отечества». Вся книжка в целом составлена, по видимому, по образцам немецких и швейцарских народных сборников (вроде «Schatzkästlein» Гебеля) и «календарей», очень распространенных в XVIII веке.

Стихотворная часть книжки очень любопытна — как собрание самых разнообразных жанров, использованных для обработки военных и патриотических тем: здесь и оды, и марш («Авангардская песня» и «Солдатская песня», вошедшие потом в солдатские песенники), и романсы, и даже стихи балладного типа. Особенного внимания заслуживают ритмические вариации, которыми Глинка очень искусно пользуется в белых стихах. Такова, например, большая пьеса, вроде поэмы или рассказа: «Картина ночи пред последним боем под стенами Смоленска и прощальная песнь русского воина»:

Затихал на ратном поле
Битвы грозный шум.
И Смоленска древни стены,
Гордых башен ряд,
Приделись мраком ночи;
Бил полночный час...

И кругом в ночи краснеет
Море огненно...

Загорелась, запылала
Земля русская.

Финал («Прощальная песня») написан другим ритмом:

Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях!
Настанет скоро страшный день, и битва загремит!
Застонет дол и темный бор от сечи роковой,
И ясну зорю утренню и солнца лик молодой
Затмит, поднявшись тучами, над смертным полем дым!

Вне всяких «народнических» и фольклорных тенденций, но тоже в ответ на агитационный заказ была написана рапсодия В. Жуковского — «Певец во стане русских воинов». В основе этого большого стихотворения лежит распространенный в ту эпоху жанр «застольной песни», образцы которого имеются и в пемецкой военной и студенческой лирике.¹ Этот жанр развернут привычным для Жуковского балладным материалом. Получилась большая, несколько сборная лиро-эпическая рапсодия, сплетающая разнообразные стилевые и жанровые элементы. Агитационная задача облегчала этот эксперимент, освобождая от забот о сюжете, о герое и естественно организуя все движение на основе единой «застольной» интонации.

«Певец» — вещь эклектическая и компромиссная. Ею не решался и даже не ставился вопрос о трактовке военной (и именно батальной) темы в поэзии, развивающейся за пределами агитационных жанров и в противовес традиционной оде. Между тем вопрос этот стоял очень остро, поскольку современность выдвигала военную тему и военный материал на первый план. Обсуждение этого вопроса и разнообразные попытки его решить — любопытный и важный момент в истории русской поэзии, связанный с именами Батюшкова, Пушкина и Дениса Давыдова.

III

Развитие новых жанров — элегии и послания — совпадает с возобновлением войн (1805—1811). Главный организатор этих жанров, Батюшков, сам участвует в войне с Швецией (1807 г.). Военную службу он предпочитает штатской («чернила надоели», пишет он Н. И. Гнедичу), но его поэтическая работа никак с военным делом не связана. В письме к Гнедичу (1807 г.) он очень характерно описывает свое новое положение:

¹ Ср. стихотворение Т. Кернера «Trost (Ein Rundgesang)». См. также стихотворение Пушкина «Пирующие студенты» (1814) и пародию Батюшкова — «Певец в беседе славянороссов» (1813), с характерным подзаголовком: «Эпико-лиро-комико-эпородический гимн».

По чести мудрено в саях или верхом,
Когда кричат: «марш, марш, слушай» кругом,
Писать к тебе, мой друг, посланья...

.....
Частенько, погрузясь в священную думу,
Не слыша барабанов шуму
И крику резкого осанистых стрелков,
Я крылья придаю моей ужасной кляче,
И — прямо на Парнас!

Стихи и военная служба оказываются в конфликте. В том же письме он сообщает: «Я не только Таасса с собою не взял, но даже нет ни одного полустушия. А сражение опишу верно мерою отца Тредиаковского и прямо буду бессмертен». Это приращение свидетельствует о том, что батальная тема («сражение») представляется ему в этот момент совершенно архаической и не входящей в круг его поэтических интересов.

В другом письме того же времени (к А. Н. Оленину, 1807 г.) он уже прямо жалуется на свою долю, прося напомнить друзьям, что есть один поэт,

которого судьбы премены
Заставили забыть источник Ипокрены,
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье,
Не перушки чинить, но чистить лишь копы;,
Заставили, приняв солдатский вид суровой,
Итти нахмурившись прескучною дорогой,
Дорогой, где язык похож на крик зверей,
Дорогой грязною, что к горести моей
Не приведет меня во храм бессмертной славы,
А может быть в корчму, стоящу близ ворот.

Муза и война никак не могут поладить. В послании к другу И. А. Петину (1810 г.) Батюшков шутиливо вспоминает «Иденсальми страшну ночь»:

Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал,
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Иденсальми страшну ночь?
Не люблю такой забавы,
Молвил я, — и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.

«С музой прочь!» — такова формула Батюшкова по отношению к войне. Но события 1812 г. меняют смысл этой формулы.

Общий патриотический подъем захватывает и его. Еще недавно иронически относившийся к деятельности С. Н. Глинки, он теперь восторгается его «Русским вестником». Эта перемена вызывает у него новое решение — временно совсем проститься с поэзией. На совет Д. В. Дашкова — продолжать интимную лирику Батюшков отвечает большим посланием, в котором решительно заявляет:

Нет, нет, пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь.
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не подставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине.

Под впечатлением новых событий Батюшков отказывается от всех своих лирических тем:

Мой друг, я видел море зла
И неба мстительного кары,
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары;
.....
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость,
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мерных цевницы
Сзывать пастушек в хоровод,
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..

Этот отказ и последовавшее за ним молчание вызывают тревогу среди учеников и соратников Батюшкова. В 1814 г. юноша Пушкин обращается к нему с посланием, в котором спрашивает:

Философ резвый и пият,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых Аонид!

Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом, наконец?

Указывая далее на богатство и разнообразие поэтических тем, Пушкин рекомендует, в том числе, и батальную тему, указывая на пример Жуковского:

Поэт! В твоей предметы воле;
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.

Этот теоретический спор имеет интересное продолжение. Оставив дружеские послания, Батюшков стал писать элегии и баллады, связанные с темами войны («Пленный», «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции»). Около этого же времени (1815 г.) он встретился с Пушкиным и советовал ему оставить любовные темы и писать о войне. Пушкин, отказываясь от этого, написал ироническое послание:

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев, —
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел, при звуках лир,
Войны кровавый пир.

Стихотворение кончается язвительной цитатой из послания Жуковского к Батюшкову: «Будь всякий при своем».

IV

Как видно из этой переписки, батальная тема стала в это время предметом не столько поэтической обработки, сколько споров и размышлений о темах и жанрах. Малые жанры интимного стиля, конечно, не были приспособлены к описанию сражений, а большие жанры, за вычетом старой оды и эпоса, не только стилистически, но и идеологически неприемлемы для новых поэтов, еще едва были намечены.

Элегии Батюшкова 1814 г. — не решение проблемы: в них только попутно вплетены походные воспоминания. Батюшков колеблется и ищет. Среди записей 1817 г. имеется одна очень показательная и непосредственно относящаяся к вопросу о батальных стихах: «Все, почти без исключения все гишпанские стихотворцы были воины, и, что всего удивительнее, посреди варварской войны Карла V, посреди опустошений, пожаров Европы и костров инквизиции они воспевали... эклоги. Неж-

ные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною, деятельною жизнью воина. Гораций бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни служил адъютантом. Сервантес потерял руку при Лепанте».

Эти размышления явились, очевидно, плодом некоторого разочарования в своих военных опытах. К числу этих опытов относится послание «К Н. М. Муравьеву» (того же 1817 г.), в котором Батюшков дал описание боя:

Когда по утренним росам
Коней раздается первый топот
И ружей напряженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми, в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!

Характерно, что сборник своих стихотворений, изданный в 1817 г., Батюшков назвал именно «Опытами». В экземпляре этих «Опытов» Пушкин сделал приписку на полях послания к Н. М. Муравьеву: «Подражание старым трубадурам».

Итак, полемика продолжалась — и Пушкин был прав: в это время Батюшков занимался старой итальянской и провансальской поэзией. В 1815 г. он написал статью «Ариост и Тассе», в которой возражал против упрека в изнеженности: «Сколько описаний битв в поэме Торквато!.. Желаете ли видеть поле сражения, покрытое нетерпеливыми воинами, — картину единственную, величественную. Солнце проливает лучи свои на долину; все сияет: и оружие разноцветное, и стальные доспехи, и шлемы, и щиты, и знамена. Слова поэта имеют нечто блестящее, торжественное, и мы невольно восклицаем с ним: *bello in sì bella vista anco è l'orgoglio*!» Далее следует цитата из «Освобожденного Иерусалима», родство которой с посланием к Н. М. Муравьеву совершенно несомненно.

Эта «красота ужаса», это изображение битвы как веселого, красивого зрелища привлекло Батюшкова как возможное решение вопроса об обработке батальной темы. Пушкин, видимо, не согласился с этой попыткой использовать тон и стиль Тасса, но сам по себе факт подобной стилизации очень характерен.

Баратынский следует примеру Батюшкова в посланиях к брату (1819 г.) и к Лутковскому (1823 г.). В первом он еще сильно пользуется военной одой:

Смотри! — сомкнулись в бранный строй;
Идут! — блестящей полосой
Горят их шлемы величавы, —
Идут Вскипел кровавый бой!

И вот, под тению шатров,
Дружина ветреных героев,
Поет за чашей славу боев
И стыд низложенных врагов.

Все это конечно восходит к оде, — и замечательно, что в новой редакции послания (1826 г.) именно эти явно-архаические строки заменены другими, ироническими, меняющими весь тон:

Люблю я Марсовы шатры
(Хотя под ними, слава богу,
Не ночевал до сей поры).

Второе послание написано прямо по следам Батюшкова — с такой же интродукцией и в той же восклицательной системе:

Прексранный вид! — в весельи диком
Вы мчитесь грозно — дым столбом!
Оружий блеск! оружий гром!
Разбитый враг покрыт стылом,
И страшный, бой с победным кликом,
Вы запиваете вином.

Итак, на смену оде жанром, впитавшим или приютившим у себя батальный материал, стало в эту эпоху «послание». Воодушевленные идеей «свободного» искусства и принципиально настроенные против всякой агитационной декламации, новые поэты пробуют поэтизировать войну — как эстетическую, как пластическую тему, как «красоту ужаса». Их описания битв похожи на гравюры. Они — военные пейзажисты, пытающиеся описывать бой как явление природы, как грозу например. При этом они неизбежно попадают в плен стилизации — поскольку в этом эксперименте нет органической жизненной связи с русской действительностью, с русским бытом, с русской историей и политикой наконец.

«Подражания старым трубадурам» могли быть только «опытами» — не больше. Мало того: послание не могло превратиться в военный жанр, а только вместить в себе описание боя — как сценку, как эпизод. Это пробовал делать и Пушкин — например в «Послании к Юдину» (1815 г.), как будто оправдывая на практике свой тезис: «Поэт! в твоей предметы воле»:

Огни по стане догорают:
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым козаком
Лежу, — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...

Но эта воображаемая сценка сразу сменяется другой, любовной, а переходом служат строки, написанные как бы нарочно для Батюшкова:

Военной славою забытый,
Спешу в смиренный мой приют:
Нашед на поле битв и чести
Одни болезни, костыли,
Навек оставил саблю мести...

V

Рядом с малыми лирическими жанрами, как прямое их развитие, начинали вырастать и большие, среди которых особенно характерным и плодотворным была поэма или «повесть в стихах». Ею осуществлялась тенденция новой поэзии к психологическим и бытовым темам, к обрисовке человека, к сюжету, к герою. Элегии и послания, как этюды, подготовляли стилистический и лексический материал для поэм. Конструкция поэм строилась на сплетении сюжетных и описательных линий с «лирическими отступлениями».

Такого рода «романтическая поэма» противостояла оде и эпопее как жанр гораздо более интимный, конкретный, не связанный ни с дидактикой, ни с декламацией. Понятно, что привычные и естественные для классической эпопеи или оды темы и поводы (вступления на престол, победы, политические события и пр.) были совершенно неприемлемы для поэмы.

«Руслан и Людмила» Пушкина — пародия на эпопею, своего рода «вампука». Здесь спародированы штампы героической эпопеи, спародирован высокий стиль оды, спародирована самая серьезность тона оказывается комическим или пародийным приемом. Идя по следам эпопеи, Пушкин между прочим вводит и подробное описание битвы между киевлянами и печенегами. Это — буффонада, шарж, почти карикатура на военные оды и эпопеи.

От пародии на эпопею Пушкин переходит к построению «романтических поэм». Первый опыт — «Кавказский пленник»: «неудачный опыт характера», как говорит сам Пушкин. «Неудачный» — потому что характер оказался бледным, а «большую и лучшую часть» поэмы заняло описание черкесов — «истинный hors d'oeuvre». Поэма получилась эклектическая, входящая частично к описательным одам Державина, частично — к посланиям Жуковского. В эпилоге, который должен был бы замыкать цепь лирических отступлений, звучат прямо отголоски военной оды:

Тебя я воспою, герой,
О, Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой, —
Твой ход, как черная зараза,

Губил, ничтожил племена...

Но се — Восток подымлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ — идет Ермолов!

Эта декламация была настолько неожиданной, что вызвала недоумение даже у близких друзей Пушкина. Вяземский писал А. И. Тургеневу 27 сент. 1822 г.: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он Как черная зараза губил, ничтожил племена? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей: политике они могут быть нужны, — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм».

Можно быть уверенным, что высказанные здесь воззрения, типичные для либерального слоя новой дворянской интеллигенции, разделялись и Пушкиным. Эпилог «Кавказского пленника» был написан с дипломатическим расчетом — подействовать на власти и подготовить возможность возвращения из ссылки. Нигде не высказанная прямо, связь эта довольно явно сквозит, например, в письме к брату (от 21 июля 1822 г.): «Что Пленник? радость моя, хочется мне с вами увидеться; мне в П. Б. дела есть». Я думаю поэтому, что эпилог «Кавказского пленника» надо рассматривать как намеренную стилизацию («анахронизм» по Вяземскому), вызванную политическими соображениями и рассчитанную на определенный эффект. Надо принять еще во внимание, что эпилог этот, в сущности, остается несколько двусмысленным. Выражение, процитированное Вяземским, звучит как прямое осуждение — оно обезврежено только окружающим контекстом, который, однако, тоже не вполне прозрачен.

Но так или иначе — «Кавказский пленник» стоит в стороне от проблемы военных жанров. Его воинственность соответствует духу тогдашней колониальной политики, его этнографизм характерен для эпохи завоевания Кавказа, но спор о батальной теме, о военной поэзии здесь никак не отражен. Гораздо показательнее и острее в этом смысле «Полтава», с ее знаменитой картиной Полтавского боя.

«Полтава» была написана в 1828 г., когда положение Пушкина было гораздо труднее и запутаннее, чем в 1821 г. За каждым его шагом, за каждым его словом следят и доносят Бенкендорфу. Он в полном плену у Николая I. В августе 1828 г. ему грозит новая опала из-за «Гавриилиады». Несомненно, что «Полтава» была написана тоже не без расчета, не без «посторонних» соображений. Характерны, хотя и несколько загадочны, слова самого Пушкина: «Полтаву написал я в несколько

дней, далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все». Слова эти, повидимому, намекают на то, что писание поэмы было не столько внутренней потребностью, сколько вынужденным ответом на какой-то заказ.

Заказом была империалистическая политика Николая I на Востоке (персидская и турецкая кампании). От Пушкина ждали и требовали, чтобы он воспел, наконец, «войны кровавый пир». Пушкин вышел из положения, пустив в ход свой метод «семантической двупланности». Об этом методе, и именно по поводу «Полтавы», писал Ю. Н. Тынянов: «Историческая поэма Пушкина двупланна: современность сделана в ней точкой зрения на исторический материал... Аналогия «Николай I — Петр», данная уже Пушкиным в знаменитых «Стансах» («В надежде славы и добра»), была еще в полной силе». ¹ Здесь же Тынянов дает общую характеристику поэмы: «она является смешанным комбинированным жанром — «стиховая повесть», основанная на романтической фабуле, комбинируется с эпической, развернутой на основе оды».

Основа эта сказалась преимущественно (как и в «Руслане») в батальной картине. «Полтавский бой» восходит прямо к одам Ломоносова. ² Но здесь описание боя выглядит уже не сказочной буффонадой, а двусмысленной стилизацией или даже пародией. Метод пародии в данном случае — стилистическое и ритмическое сгущение подлинника. Так, типичные для оды Ломоносова стихи —

Однако, топчут, режут, рвут,
Гудят, терзают, грабят, жгут, —

даны Пушкиным в такой ритмико-синтаксической транскрипции, что производят совсем иное впечатление:

Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет.

Ставши хрестоматийной, поэма эта (в том числе — и описание боя) стала восприниматься как исключительно историческая, однопланная: ее народийность и двусмысленность ступевались. Но современники чувствовали ее иначе. Особенно интересен отзыв Надеждина, который, сопоставляя «Полтаву» с «Графом Нулиным», высказал замечательное суждение: «Поэзия Пушкина есть просто пародия... Пушкина можно назвать по всем правилам гением карикатуры»; «Полтаву» он назвал «Энеидой наизнанку».

Что касается самого Полтавского боя, то здесь слово взял Булгарин — как военный специалист и автор военных расска-

зов, а более всего как доносчик: «Жаль, что поэт никогда не был зрителем сражения, а потому и картина битвы наполнена невероятностями, которые заглушают всю прелесть поэзии». В этих словах дан довольно прозрачный и язвительный намек на то, что Пушкину следовало бы побывать на фронте и написать о современных подвигах русских на Кавказе — намек, который в скором времени превратился в открытую травлю (по поводу «Путешествия в Арзрум»). Это была уже не литературная полемика (как раньше между Батюшковым и Пушкиным), а социальная и политическая борьба, для которой «Полтава» давала повод именно своей семантической двупланностью.

VI

Итак, проблема батальной темы и военной поэзии вообще осталась нерешенной, а естественный заказ эпохи на эту поэзию — невыполненным. Но это правильно только по отношению к той группе поэтов, на творчестве которых мы до сих пор останавливались. За пределами этой группы положение было несколько иное.

Инерционное движение старых военно-патриотических жанров продолжается в военной среде — совершенно в стороне от новаторских опытов Батюшкова, Пушкина, Баратынского и др. П. Свечин, например, пишет архаическую «Александриду» и в 1816 г. издает сборник стихотворений («Дань величию России»), где повторяет старые одописные штампы:

О Росс, могущественный род,
В перунах с славою рожденный!

К той же военно-профессиональной, наивно-архаической линии относится и Николай Неведомский — тот самый Неведомский, о котором Пушкин написал в 1828 г.:

Неведомский — поэт неведомый никем,
Печатает стихи неведомо зачем.

Неведомского соблазнил пример Теодора Кернера, с которым он был лично знаком. Сборник стихотворений «Воин-поэт» (1819 г.) посвящен памяти Кернера, а в примечаниях, после биографии Кернера, Неведомский пишет: «Приятно видеть немку за фортепиано, поющую военные песни Кернера, Рейнгарда, Фукса. Русская словесность очень бедна в сем роде. Желательно, чтоб кто из любимых писателей дополнил сей недостаток; и кто без удовольствия будет слушать похвалы героям из уст женщины?»

Итак, стихи Неведомского обращены к дамам — его сборник состоит не из батальных, а из любовно-героических стихотворений. Этим романсам противостоят его «Отрывки из второй России» — совершенно архаические и малограмотные. В

¹ «Архаисты и новаторы», Лнгр. 1929, стр. 273.

² См. статью Б. И. Коплана «Полтавский бой» Пушкина и оды Ломоносова («Пушкин и его современники», вып. 38 — 39, Лнгр. 1930)

позднейшие годы он пишет ряд военных поэм, стилистически непосредственно примыкающих к старым одам и эпopeям. На этом пути военная поэзия ничего не приобретала и ничем не обогащалась — особенно по сравнению с прозой, где были уже накоплены подробные описания походов, сражений, отдельных бытовых сцен и пр. (Лажечников, Булгарин, Ф. Глинка, С. Глинка, Марлинский и др.). Батальная тема в поэзии была, очевидно, исчерпана одой, — послания и поэмы не могли соперничать с ней, поскольку метод декламационного прославления был для них невозможен и неприемлем (и идеологически и стилистически), а другие методы приводили к стилизации или даже к пародии.

Нужен был, очевидно, решительный ход в сторону: от батальных тем — к темам военно-бытовым, от абстрактно-героического тона — к созданию конкретной фигуры «воина-поэта», от высокого стиля — к стилю низкому, профессионально-бытовому. Логика эволюционного процесса требовала, чтобы военная тема оказалась в руках профессионала, самая поэтическая работа которого была бы связана с военным делом, с военным бытом — не как специальное занятие литератора, а как результат досуга. Иначе говоря, военная поэзия должна была отъединиться, обособиться от «штатской», но вместе с тем освободиться и от одописных традиций, а пойти по линии тех же «домашних» жанров — как их специфическая разновидность. Нужен был не батальный пейзаж в стиле Тасса, а реальный автопортрет военного героя. Нужна была личностная поза, нужны были личностные тон и голос: не «воспевание» героя, а рассказ самого героя о самом себе — и рассказ конкретный, бытовой, с деталями жизни и поведения. Сочетание «воина» и «поэта», неудавшееся Батюшкову, должно было явиться в ином аспекте — как сочетание военного профессионала, для которого война — привычное дело, неразрывно связанное с его личностью и биографией, и дилетанта-поэта, пишущего не для светских дам и даже яко бы не для литературы, а для своей же братии. Нужен был, иначе говоря, интимный портрет военного героя, лирическая автобиография в духе новых бытовых жанров — с живыми интонациями, с профессионально-бытовым языком, с чертами определенной индивидуальности.

Именно это и было сделано в стихах Дениса Давыдова.

VII

Давыдов продолжает линию малых жанров эпохи — альбомных, эпистолярных, застольных, но так, что они собираются в один биографический цикл, составляют своего рода военно-бытовую поэму, в центре которой — портрет самого автора: гусара-партизана, лихого рубаки, любителя войны. Этот образ развернут вширь: сюда замешаны и любовь, и кутежи, и приятели, и литература, и подвиги, и неудачи, и трубка, и даже «чернобурый ус». В целом получается яркий, действующий

на воображение портрет «воина-поэта». Сам Давыдов очень ясно понимал эту свою роль, когда в 1835 г. просил своих друзей написать после его смерти солидную «некрологию»: «Шутки в сторону и не в похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии». Не надеясь на друзей, Давыдов сам написал свою «некрологию», которая служит великолепной надписью к автопортрету.

Уже не раз указывалось на то, что этот автопортрет легендарен — что Давыдов «более выписал, чем вырубил себе славу храбреца» (Бестужев-Марлинский). Тем более характерен и значителен самый этот портрет — как творческое создание, как символ эпохи, как образ, а не копия. Все дело в том, что абстрактные идеологические темы и батальные описания заменены в стихах Давыдова личностной прозой, которая подчеркнута не только тематически, но и стилистически. Вместо пышной декламации — грубая военно-профессиональная речь, гусарская «говорня», выражаясь языком Ф. Глинки. Это — одна краска для автопортрета. Другая, контрастирующая с ней и потому хорошо дополняющая живой облик героя, — нежная, любовная, элегическая. А. Бестужев так и делит его поэзию на два рода: «нежный» и «гусарский», считая в последнем образцовыми «залетные послания и зачатные песни». Пользуясь этими красками для рисовки автопортрета, Давыдов обходит проблему батального пейзажа, над которой работал Батюшков: он не поэтизирует, а эротизирует войну, воплощая ее в конкретной фигуре героя и изображая как предельный разгул чувств.

Для создания такого автопортрета очень важным обстоятельством было то, что Давыдов был не просто военным, а гусаром-партизаном. Партизанство этой эпохи — проявление военного либерализма, военной оппозиции; это — военная богема, воодушевленная презрением к официальному, бюрократическому духу армии. Профессионалы-фронтовики смотрели на партизан как на дилетантов и налетчиков, как на беспокойный элемент. Партизаны, с своей стороны, противопоставляли свои методы методам регулярной армии как искусство ремеслу, выдвигая принцип личной инициативы, предприимчивости, храбрости и пр.

Это противопоставление очень отчетливо выражено в статье того самого Неведомского, о котором была речь выше, — в статье, характерно озаглавленной «Поэзия партизанской войны». Неведомский говорит: «Байрон описал линейный корабль с его балконами, позолоченными через огонь, с яркой живописью на корме, с гербом могучего государства на флаге. Но описание холодно. Зато сколько жара и блеска в байроновом описании разбойничьего корабля и быта под его парусами! ...Поэтическое отношение между кораблями линейным и разбойничьим то же, что между армией и партизанами. К движениям и сражениям армии, однообразным до утомления, поэзия

нейдет». Далее следует описание этих однообразных сражений армии, которому противопоставляется описание партизанской жизни: «Два поэта нашего времени, Кернер и Давыдов, отведали партизанской жизни. Первый назвал ее дикой и дерзкой охотой; а второй — строфою из Байрона. Эта жизнь походит на повесть странную, как сонные грезы больного... Несколько дней партизанской жизни полнее происшествиями многих месяцев, проведенных в колоннах армии и на ее биваках... Воспоминания о партизанской жизни срывают с моей молодости туманы годов».

Сам Давыдов неоднократно выступал с критикой, направленной против военного начальства и общей постановки военного дела, называя генералов «бездарными невеждами, истыми любителями изящной ремешковой службы», которые «полагают в премудрости своей, что война, ослабляя приобретенные войском в мирное время фронтовые сведения, вредна лишь для него». Этот военный партизанский «либерализм» освещает всю поэзию Давыдова как поэзию не только воинственную, но и воинствующую, полемическую. В этом смысле он примыкает к архаистической дворянской фронде, обманутой в своих надеждах на новую правительственную политику. В письме к П. Д. Киселеву (1819 г.) он возражает против поведения своего приятеля, декабриста М. Ф. Орлова («Михаил идеолог»), потому что уже равнодушен к вопросу о свержении абсолютизма в России.

Стихи Давыдова, таким образом, и идеологически и стилистически входят в общую систему поэзии, развивавшейся в противовес оде и эпосе. Личностная поза Давыдова, снимающая противоположности военной оды и батального послания, организует новый жанр военно-бытовой лирики — «гусарскую песню». Этот жанр сам Давыдов называл *гусарщиной*: «Вся гусарщина моя хороша (писал он Вяземскому в 1832 г.), но элегии слишком пахнут старинной выделкой, задавленной эпитетами». Этой «гусарщиной» естественно и закономерно завершается процесс эволюции военной тематики и стилистики в поэзии первого тридцатилетия.

Военно-бытовая лирика продолжала свое существование и после Давыдов (К. Бахтурин), но уже редко выходила за пределы военной среды — как литература узкого круга, как поэзия офицерских собраний и вечеринок. Через прозу Марлинского и стихи Полежаева военная тематика (в том числе — и батальная) вошла потом в литературу в новой трактовке — не исключительно бытовой, но и философской, и политической, и социально-психологической. Это уже характерно для периода сороковых годов — для эпохи дворянского кризиса и оскудения, на пороге которого стоит поэзия Лермонтова.

Б. Эйхенбаум

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА

Мы все живем для славы!...

Денис Давыдов

Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 16 июня 1784 г. в старинной дворянской семье; отец его — Василий Денисович, женатый на дочери екатерининского вельможи генерал-поручика Е. А. Щербинина — Елене Евдокимовне — богатый помещик Орловской и Московской губерний, — командовал в то время Полтавским легкоконным полком. Род Давыдовых вел начало от знатного татарского мурзы Минчака, выехавшего в самом начале XV столетия из Большой Орды на службу к великому князю Василию Дмитриевичу. Денис Давыдов гордился своей родословной, называл себя «потомком Батыя» и неоднократно вспоминал о «своем предке — Чингисхане». — По рождению Давыдов принадлежал к служилому, но столбовому и состоятельному дворянству и считался в родстве со многими знатными русскими фамилиями (Уваровы, Щербинины, Барятинские, Орловы-Чесменские, Лопухины, Ермоловы, Самойловы, Каховские, Раевские).

Первоначальное воспитание Денис Давыдов получил дома — в духе стародворянских традиций екатерининской эпохи. Учился он мало и неохотно и когда, в 1801 г., определился на военную службу, в его формуляре сказано было только: «По-русски и по-французски читать и писать умеет». Значительно больше времени и внимания уделял Давыдов «военным играм», а впоследствии чтению излюбленных им военно-исторических сочинений. — Кочуя с отцом по местам стоянок его полка, Давыдов рос и воспитывался в военно-дворянской среде, в атмосфере патриотического воодушевления, охватившего эту среду в связи с победоносными войнами Суворова и Румянцева. Понятие «военная слава» очень рано вошло в сознание Давыдова; с детских лет он неотступно мечтал о военных подвигах и исподволь готовил себя к офицерской службе; некоторую роль сыграла при этом также встреча девятилетнего Давыдова с «великим Суворовым» (см. его статью «Встреча с великим Суворовым»).

В 1797 или 1798 г. Давыдов, в бытность свою в Москве, случайно очутился в кругу воспитанников Университетского Благородного Пансиона и познакомился с последней литера-